



КАРЛ ФАРНХАГЕН ФОН ЭНЗЕ

Сочинения Александра Пушкина

Еще недавно ранняя смерть русского поэта Пушкина возбудила всеобщее горестное участие, которое даже и там, где Пушкин не был непосредственно знаком как художник, даже и там не замедлило обнаружиться всеобщим участием. Что он был поэт — это было принято тогда на слово, на веру; однако ж вдохновение, с каким превозносили его соотечественники, единодушное признание, которое талант его нашел у них, и глубокое чувство, с каким его поэзия принята всеми классами народа, служат несомненным ручательством за его художническое достоинство. Кто бы из нас, немцев (их преимущественно должны мы иметь здесь в виду), мог судить об этом явлении, об этом чуде, явившемся в той стране северного неба, которая закрыта от нашего взора, стране, к которой едва ли даже мог обращаться этот взор? Мы, которые славимся ревностью, смыслом, силою в изучении всех народов и языков самых древних, самых темных, самых отдельных, — мы, которые не обходим ни одного предмета, доступного для духовного постижения и обрабатывания, мы так мало до сих пор сделали для того, чтобы духовно сблизиться со славянами, во всех отношениях так высоко важными, с племенем, рядом с нами живущим, переплетшимся с ветвями нашего племени. Старания Шлёцера¹ ввести нас в источники русской истории давно прерваны и остаются доселе прерванными. Хотя мы не перестаем посылать в Русскую империю силы деятельности и образования, силы, благодатно и славно действующие там, но у себя дома мы посвящали очень малое внимание русскому языку и литературе и почти не посвящали ни малейшего труда. Это тем поразительнее, что именно в новейшее время, когда обоими племенами в братском союзе свершены были битвы для освобождения, для общей победы², они тесно сблизились, а могущество и влияние России получают для нас все большее и большее значение.

Здесь не место развивать причины, по которым мы при столь великих исторических соприкосновениях, при столь тесной географической связи почти совершенно отвращаемся от наших восточных соседей и обращаем, по достижении мира, нашу склонность и наше стремление снова к западу, насылавшему на нас столь долгое время только бедствия и смуты, откуда и теперь каждое мгновение может грозить нам опасный враг. Мы довольствуемся одним только намеком на факты и соглашаемся, что склонности и направления народов не могли бы являться в такой силе и в таком могуществе, если бы не имели своего собственного, в обстоятельствах дня скрытого оправдания; но со всем тем мы не должны придавать слишком много цены этим обстоятельствам, чтобы для преходящих требований дня не пренебречь условиями постоянными и прочными. Спокойный наблюдатель будет всегда с сожалением видеть, что отношения, проявляющие собою великие указания природы и истории, пренебрегаются теми, которые по своему призванию и судьбе должны постоянно в них участвовать.

Это последнее кажется нам несомненным в отношении к немцам. Россия беспрерывно развивается, и как ни исполински представляется даже и теперь это развитие, будущий вид его не может быть измерен во всем объеме ни даже самым отважным оком. Мы убеждены, что это развитие захватит собою большую часть нашей немецкой жизни и условит ее, что оба народа вступят еще в теснейшее сродство, живее будут действовать взаимно друг на друга. Какой бы вид ни приняло то, что мы свершим, проживем и возделаем вместе, всегда будет существовать потребность ближе узнать и лучше понять друг друга. То, что русские, с своей стороны, сделали для этого сближения, значительно, плодоносно и во всяком отношении заслуживает благодарности. Мы же, с своей стороны, мы далеко отстали от них в этом направлении. Да, еще распространен у нас предрассудок, что русский язык необразован и груб, что русская литература едва начинается и большею частью ограничивается подражанием чужим образцам, что мало окупятся труды, потребные для ее изучения.

Но с той самой борьбы, которую мы вместе выдержали, которая пробудила в России всю народную ее силу и вызвала ее на участие — сначала в опасности, потом в победе и славе, — из великого, общего, сосредоточившегося чувства возникло после столь мужественных подвигов также и духовное стремление к образованию. Русские научились ценить себя как нацию и вместо того чтобы, как прежде, отрекаться от своей народности, они

свободно признали и возвеличили ее и, опершись на нее, поднялись так высоко, что превзошли все ожидания и блестящим образом доказали, что как в народах, так и в отдельных людях доблесть, проявившись раз в какой-то одной области жизни, не может не обнаружить себя и в других направлениях. Но мы мало знали об этом духовном полете, или даже не верили ему. Отдельные имена дошли до нас, но мы нисколько не думали о ближайшем ознакомлении, и тем охотнее не думали, что слышали, как много на русскую почву перенесено нашего, того, что у нас в избытке и дома, что мы можем очень хорошо знать и без посредства незнакомого языка. Знаменитые переводы Жуковского из Шиллера, Гёте, Уланда были для нас не слишком важны, точно так же, как мы не предполагали большой цены в его собственных произведениях. И когда нас поразило известие, что Гётева «Елена» тотчас нашла себе умного объяснителя в Шевыреве³, то мы порадовались только чести, которая была этим сделана нам, немцам, и нисколько не позаботились о том, чтобы посмотреть, в чем дело. Конечно, были переводы русских оригинальных произведений (впрочем, редко лучших и достойнейших), однако ж эти опыты не достигали своей цели и большею частью оставались безызвестными.

При таких обстоятельствах явилась в прошлом году изданная Генрихом Кёнигом книга «*Literarische Bilder aus Rußland*» («Очерки русской литературы»)⁴, и в первый раз представилось нашим взорам богатство новейшей русской литературы. Эта сообразная с потребностями времени книга, почерпнутая из многих источников, особенно же из достоверных сведений, доставленных благородным Мельгуновым, содержит в себе обзор доселе незнакомых нам писателей и сочинений, которых количество и разнообразие поразили нас. Пробудился шум, пробудилось общее участие, но потребность ближайшего знакомства не была, разумеется, удовлетворена через это в равной мере. Мы нашли в ней много имен, живые, свежие известия, пояснительные намеки, но она не могла познакомить нас с самими литературными произведениями. Самый язык составляет трудноодолимое препятствие. Переводы, из которых есть много отличных (назовем переводы г-жи Павловой, урожденной Яниш⁵, Карла фон дер Борга⁶, П. фон Гетце⁷ и Роберта Липперта⁸), не могли произвести такой пользы, как переводы с других языков, сколько-нибудь знакомых публике.

Главная задача состоит, следовательно, в изучении русского языка, и, как ни велика трудность этого предприятия, может

быть, ни один язык не вознаградит богаче за труды изучения. Мы должны здесь отбросить много предрассудков. Русский язык, самый богатый и самый могучий из всех славянских наречий, может состязаться с самыми образованными языками нынешней Европы. Богатством слов превосходит он языки романские, богатством форм — языки тевтонские, и как в том, так и в другом отношении способен к дальнейшему развитию, которому границы невозможно означить теперь. Наш нынешний немецкий язык оторван от своих первоначальных сокровищниц, которые имеют свое отдельное значение, почти без всякого приложения к вытекшему из них языку; новый же русский язык, напротив, находится в свежей, в жизненной связи с древним славянским языком и может черпать как из него, так и из многих родственных, своеобразно развившихся наречий, и все почерпнутое может претворять в свою собственность. В благозвучии, силе и нежности русский язык не уступит ни одному северному языку и может даже состязаться с южными. <...>

Если в таком языке проснется поэзия, то надобно ожидать великих явлений. Хотя без поэзии не живет ни один народ, хотя ни один язык ни в какое время не существует без нее, однако ж здесь не должно упускать из вида важного различия. И до Агамемнона были герои, но они все-таки были ниже его славою, если б даже их имена, их подвиги сохранились в потомстве. Русские давно еще могли хвалиться своим Ломоносовым, своим Державиным и многими; но русская поэзия еще не пробилась в произведениях всех этих поэтов. Мы можем видеть на себе, как долго может замедляться развитие этого цветка, при роскошном процветании других сторон народной жизни: наша поэзия со вчерашнего дня; до Гёте и Шиллера немцы не имели поэта-выразителя их совокупного образования во всей его целостности. Мы делаем особенное ударение на слове «совокупное образование», ибо это совокупное образование есть факт, обретаемый поэтом и совершаемый его произведениями. Естественная поэзия (Naturpoesie) народа соединяется в этих произведениях с художнически усвоенным содержанием всеобщего, всемирного прогресса, на которое каждая нация имеет свое право, которого часть развивает она своею жизнью и которое сопроникается в поэте с ее народностью.

Такая поэзия в новейшее время пробилась на свет у русских, и ее чистейшее, могущественнейшее выражение есть Пушкин. Из многочисленных, разнообразных рядов предшественников и последователей, группирующихся вокруг него, возвышается его величавая глава; все они объемлются им, все они находятся

в нем. В самом деле, он есть выражение всей полноты русской жизни, и потому он национален в высшем смысле этого слова. Если под народным разуместь то, что передается из века в век в первоначальной непосредственности, без всякого развития, то на высшей ступени образования оно не может быть названо национальным⁹, потому что благороднейшая часть народа, в которой уже пробудился дух и открылись духовные очи, не может им удовлетворяться. Только удержав эту мысль, мы можем определить значение Пушкина и справедливо судить о его произведениях. Русские сами, по скромности или осторожности, нередко называют Пушкина подражателем. Но они уж слишком далеко простерли эту скромность или эту осторожность. То же самое было говорено о лорде Байроне. Его поэзия часто может показаться подражанием, и, однако ж, она вся вышла из его собственного духа. Как океан есть общий резервуар, в который сливаются реки всех стран, так точно запас духовного богатства, скопленный веками, есть общее достояние, которым всякий может пользоваться, из которого всякий может черпать и усваивать себе все, что ему нужно. Создания Шекспира и Гёте, напевы Байрона, даже усилия Виктора Гюго, одним словом, вся сокровищница литературных произведений переходит в общую поэтическую атмосферу и разрешается в ней; мы вдыхаем ее как свободный жизненный элемент; она становится материалом и составной частью новых созданий, которых вследствие этого еще несколько нельзя назвать подражаниями. Только дух, один дух может здесь решить, кто свободный владелец и кто рабский подражатель.

Что Пушкин есть поэт оригинальный, поэт самобытный, — это непосредственно явствует из впечатления, производимого его поэзией. Он мог заимствовать внешние формы и идти по стезям, до него бывшим; но жизнь, вызванная им, — жизнь совершенно новая. Если он часто напоминает Байрона, Шиллера, даже Виланда, далее — Шекспира и Ариоста, то это указывает только, с кем можно его сравнивать, а не от кого должно его производить. С Байроном он решительно принадлежит к одной эпохе, и даже можно сказать — с Шиллером, сколько позволят допустить это некоторые существенные изменения, происшедшие со времени Шиллера во внешнем состоянии жизни. Самый внутренний мир, раскрывавшийся в духе поэта, зиждется большею частию на тех же основаниях, какие мы видим у этих поэтов; в нем та же противоположность и раздор мечты с действительностию, та же тоска, та же полное сомнений уныние, та же печаль по утраченном и грусть по недостижимом счастья, та же разорванность и ве-

личественная, великодушная преданность, — все эти качества, особенно преобладающие в Байроне. Но главное, существенное свойство Пушкина, отличающее его от них, состоит в том, что он живым образом слил все исчисленные нами качества с их решительной противоположностью, именно, с свежеею духовною гармониею, которая, как яркое сияние солнца, просвечивает сквозь его поэзию и всегда, при самых мрачных ощущениях, при самом страшном отчаянии, подает утешение и надежду. В гармонии, в этом направлении к мощному и действительному, укрепляющем сердце, вселяющем мужество в дух, мы можем сравнить его с Гёте. Истинная поэзия есть радость и утешение, и для того чтобы точно быть этим, она нисходит до всех страданий и горестей. Укрепляющую, живительную силу Пушкина испытает на себе всякий, кто будет читать его создания. Его гений столь же способен к комическому и шутливому, сколько к трагическому и патетическому; особенно же склонен он к ироническому, которое часто переходит у него в юмор в благороднейшем смысле этого слова. Светлая гармония, бодрое мужество составляют основу его поэзии, основу, по которой все другие его свойства пробегают как тени или, лучше, как оттенки. Его характеру вполне равновесно его выражение: везде быстрая краткость, везде свежий, совершенно самостоятельный, сосредоточенный образ, яркая молния духа, резкий оборот. Мало поэтов, которые были бы так чужды, как Пушкин, всего изысканного, растянутого, всякого *sonante** набираемого хлама. Его естественность, довольствующаяся самым простым словом, быстро схватывающая и быстро отпускающая каждый предмет; его могучее воображение, полное согревающей теплоты и величия; его то кроткое, то горькое остроумие — все соединяется для того, чтобы произвести самое гармоническое, самое благотворное впечатление в духе непрерывно занятого и непрерывно свободного, ни минуты не мучимого читателя.

Для русского это впечатление тем могущественнее, что проникает также в его национальное существо и пробуждает в нем всю полноту жизни его отечества, его народа. Создания Пушкина все полны Россиею, Россиею во всех ее направлениях и видах. Мы ближе разберем значение того, что сейчас нами сказано, и посмотрим, как национальность Пушкина была выгодна для его поэзии. Всякий поэт, который не теряет в идеальных общностях, выговаривает более или менее жизнь своего народа, характер своей страны, и, во всяком случае, качество этой жизни и этого

* С любовью (*ut.*).

характера имеет сильное влияние на его поэзию. Но почти всегда круг, очерчиваемый им, тесен; из этого круга почти всегда выходит только нечто одностороннее, нечто однообразное.

Байрон избежал этой тесноты, прибавив к английскому испанское, немецкое, итальянское и греческое; но он обогатил свою поэзию не иначе как непрерывными своими путешествиями. Если Гёте умел, сверх немецких элементов, включить в свою поэзию элементы славянские и восточные¹⁰, то это удалось ему только вследствие некоторых условий его жизни и по особенной могучести его духа. Но русскому поэту все это разнообразие разрозненных пространством и духовно различных элементов дается уже само собою; все это уже он находит в своем национальном кругу. Ему равно доступны, равно родственны юг и север, Европа и Азия, дикость и утонченность, древнее и новейшее; изображая самые различные предметы, он изображает предметы отечественные. Величина и могущество России, объем и содержание русской империи имеют в этом отношении самое благотворное влияние; мы можем отсюда видеть, в каком внутреннем соотношении с государством живет поэзия. Состоя из тех же самых основных стихий, какие содействуют государству могущественным, развивается поэзия изнутри наружу (*von innen her*). Пушкин, владея мощными силами, вполне воспользовался выгодой своей национальности, вполне осуществил ее. Созерцая самые противоположные изображаемые им состояния, чувствуешь, что они все равно принадлежат поэту, что он на всех их имеет равные права; они его, они — русские. Мы можем здесь, выражаясь собственными словами поэта, сказать:

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая¹¹, —

езде — в мире сельских нравов и в блестящем модном свете, в великолепных палатах и под сению цыганской кущи — везде он на своей родной почве, и везде на этой почве дает отпрыски его поэзия. Действительно, весь этот богатый мир во всем его объеме претворил Пушкин в поэтическое созерцание. <...>

Приступим теперь к ближайшему рассмотрению содержания. Первый том <...> содержит в себе два самые большие и самые знаменитые произведения Пушкина и вслед за ними несколько отдельных небольших драматических сцен. Мы постараемся вкратце характеризовать и оценить каждое создание порознь.

«Евгений Онегин, роман в стихах». Это произведение, которому нынешняя действительность дала материал, романтические образцы дали внешнюю форму, покрой, а высокий творческий гений — духовное содержание и внутреннюю форму, — нашло, как верное зеркало русской жизни, самый живой прием. Почти нет ни одного уголка в огромной империи, куда бы ни проникнул «Онегин», по крайней мере, в виде изречений, поговорок, намеков на ежедневную жизнь. Такой прием от целой нации, не купленный пошлым унижением, а приобретенный возвышающим величием, уж один доказывает могущество творческого гения Пушкина. Для критического глаза это произведение является в высочайшей степени самобытным и оригинальным. В самом деле, мы не знаем ни одного произведения из известного нам литературного круга, которое бы можно было сравнить с «Онегиным» Пушкина. Тот, кто бы вздумал тут указать на Байронова «Чайльд Гарольда», показал бы только в себе человека, неспособного проникнуть дальше наружной стороны. <...> Даже и тогда, когда Пушкин касается самого обыкновенного, характер и направление его являются необыкновенно самобытными; поэт высоко парит над своими образами, из которых одними он беспечно играет и шутит, другие же скорбно прижимает к груди своей... Да, мы признаемся, свободно входя в отдельные мотивы, властительно звучащие в этом создании, получая величайшее удовлетворение, величайшее наслаждение от целого, мы не в силах проникнуть до той духовной настроенности, в которой поэт замыслил свое творение. Оно имеет для нас извне, из преддверья к нему приступающих, нечто такое, что никак не разрешается для нас вполне и что, вероятно, более доступно для русских, непосредственно пребывающих в самом святилище. Едва ли можно лучше характеризовать разноцветную смесь веселого и грустного, иронического и трогательного, народного и идеального, являющегося в форме этого произведения, как сказав, что мы созерцаем в ней Русь, что мы созерцаем в ней Пушкина. <...>

«Борис Годунов». Пушкин не дал этому драматическому произведению никакого родового названия; в нем нет деления на акты, и сцены непрерывно следуют одна за другою; место действия также непрерывно меняется; время же действия обнимает собою целые годы. Если эти внешности, из которых только первая может показаться необыкновенною, заставляли самого поэта сомневаться, точно ли его произведение может быть названо трагедией, то это, однако ж, ни минуты не должно приводить нас в раздумье — дать ему это название. <...> Материал драмы

заимствован из русской истории, из самого тревожного, из самого богатого событиями периода, периода, в который является лже-Димитрий. Но не он, не лже-Димитрий, как в посмертном, неоконченном произведении Шиллера, является героем трагедии, а, как уже показывает заглавие, Борис Годунов, который в то время восседал на русском престоле. <...>

«Народ безмолвствует»... Так заключается драма, заключается величественным впечатлением, в котором сосредоточивается вся сила совершившегося и в котором таится предчувствие новой Немезиды для нового преступления. Поэт разоблачил перед нашими взорами мировую судьбу. Борис, способный и достойный царствовать, достигает престола посредством преступления и торжествует над утратившим силу правом; тщетно надеется он превратить свои достоинства и заслуги в право и передать любимому сыну как честное наследство то, что некогда было приобретено злом. Из самого преступления развивается месть; но не истина, не право низвергает его, а новый обман, который ясен ему самому как обман. Поддельный вид права уже достаточно силен для того, чтобы уничтожить владычество, присвоенное посредством зла. История не всегда так свершает свой суд; наши глаза часто едва-едва могут следить по рядам столетий за Немезидою; но те моменты истории, в которых суд свершается так же быстро и так же явственно, как здесь, они-то и заключают в себе то, что мы зовем трагическим. Катастрофа Бориса Годунова, которую поэт имел полное право отодвинуть за кончину самого Бориса до решительной гибели всего царского рода, сама собою переплетается с судьбою лже-Димитрия; но из этих двух трагических ветвей явственно преобладает первая как большей определенностью, так и большим обилием содержания, — и выбор Пушкина доказывает всю глубину его гения, который был притом столь могуществен, столь богат, что смог изобразить во всем достоинстве и второго представившегося ему героя.

<...> Для русских трагедия Пушкина имеет еще то преимущество, что она в высочайшей степени, если так можно выразиться, насквозь (*durch und durch*) национальна. Если в драму входят и другие народы, и по мере своих отношений в их истинном, неурезанном виде (особенно немцы должны быть благодарны за почетное упоминание о них), то все-таки дело России безусловно овладевает всем участием. Мы, иностранцы, мы чувствуем биение русского сердца в каждой сцене, в каждой строке. Видя такое прекрасное соединение величайших даров, мы не можем

не удивляться и не сожалеть, что Пушкин создал только одну эту трагедию, а не целый ряд, тем более что истинный драматический талант по своей натуре плодоносен и обыкновенно порождает легко и много. Если бы Пушкин прожил долее, то он, может быть, еще больше свершил бы в этом направлении; но различные условия определенных временных отношений могли быть причиною, что поэт, избегая слишком большого ограничения, изливает свою драматическую силу в произведения других, более свободных родов поэзии. <...>

Вся сила, все богатство поэта развивается в полноте мелких, преимущественно лирических стихотворений, составляющих содержание третьего тома. Здесь Пушкин является полным властелином, в необозримом могуществе; здесь сверкают самые яркие искры того пламени, который горел в сокровенных тайниках его души. С первого взгляда ясно, что все воплощаемые им ощущения были прожиты им, что они или выражение переворотов судьбы, или страдание и грусть мужественного сердца, или бодрость и надежда сильной души. В веянии этих ощущений дышит сам поэт, дышат его соотечественники, его современники; он отыскивает в их груди самые сокровенные струны, настраивает эти струны и ударяет по ним. Волнения, которые темно и болезненно движутся и борются внутри, освобождаются очарованием его выражения и выпархивают на свет, радостные и сияющие. Как глубоко, как могущественно вскрыл Пушкин в своих песнях сердце своего народа, видно из того, что эти песни проникли всюду в России, что они перелетают там из уст в уста и везде возбуждают восторг и вдохновение. Мало того, что они вполне удовлетворяют лирическому чувству народа, они еще возвышают его требования и умножают его богатство новым поэтическим сокровищем; неистощимо это сокровище: расточая его, не уменьшишь, а увеличишь его богатство. <...>

Его воззрения на политические современные дела исполнены величия и благородства, всеобъемлющей дальновидности, зрелого сознания, кроткой теплоты при мысли об общем благе, высокой любви к родине. Ни один поэт в мире не воспел так достойно смерть Наполеона¹², как Пушкин; ни одно стихотворение на эту тему не может равняться с пушкинским в выпренности и богатстве содержания. Он изображает в гениальных чертах все величие павшего героя и, объявляя его тираном, не понявшим свободы и народов, не постигшим русских, он возбраняет всякий укор против того, кто так величественно искупил свои заблуждения; в заключение поэт призывает славу на главу того, кто воз-

звал русский народ к высшему развитию, кто из мрака ссылки завещал миру вечную свободу.

Еще замечательнее, еще значительнее два другие стихотворения Пушкина, принадлежащие ко времени последней польской войны¹³. Поэт подчиняет в этих стихотворениях вопрос о сомнительной во всяком случае свободе отдельного племени другому высшему вопросу — об общем назначении славянских народов. Здесь он весь русский, пламенеющий за свое отечество, торжествующий победу, требующий покорности, но не в позор и рабство, а в осуществление закона высшей власти, для общей славы и процветания. Все негодование его падает на чужеземных клеветников и врагов России, для которых непонятен и чужд этот спор славян между собою; он зовет их снова на знакомые им снежные равнины, он обещает, что есть еще и для них место среди гробов, им не чуждых. Поэт всегда принадлежит своей родине, и когда его соотечественники бьются и проливают свою кровь, он имеет полное право желать им победы и славы; он расточает все богатство своей силы представившемуся ему мгновению, дает ему столько, сколько оно может принять; даже и то, что не может быть принято этим мгновением, что выпадает из него, столько же служит к изображению истины, сколько и то, что действительно относится к нему. Но, отбросив в сторону все эти рассуждения, мы должны сказать об упомянутых нами стихотворениях, что они, рассматриваемые с художественной точки зрения, принадлежат к самым лучшим стихотворениям Пушкина. Они стремятся в порывах высокой страсти, в огненном выражении, в величавых, иногда диких, иногда странных образах, и неодолимо увлекают с собою участие и душу читателя.

Третья, замыкающая этот ряд песня «Пир Петра Великого» должна покорить все сердца поэту, который здесь с мыслию высокой, столько же русской, сколько и общечеловеческой, воплощает в могущественнейших, в трогательнейших образах торжественный акт прощения и примирения и рассыпает эти образы в формах быстрой, милой, веселой песни. Никогда еще такое духовное благородство и величие не соединялись так счастливо с высоким даром муз, как в этой песни. Эта одна песня может служить ручательством, что русская поэзия может смело поставить себя наряду со всякою другою поэзиею, достигшею до высочайшей степени развития. <...>

